

ГОРЬКИЙ В ТЕАТРЕ

В художественных материалах, не вошедших в собрание сочинений М. Горького, сохранился рассказ о том времени, когда Горький—подросток в поисках своего места в жизни, решил испытать счастье на службе в театре. Происходило это в Нижнем, в начале 1880-х годов.

... Лет пятнадцати я чувствовал себя на земле очень не крепко, не стойко, все было мною как будто покачивалось, проваливалось, и особенно смущало меня незаметно развившееся в груди чувство нерасположения к людям.

Мне хотелось быть героем, а жизнь всеми головами своими ввухала:

— Будь жуликом, это не менее интересно и более выгодно.

Но, жульничать мешала органическая безразличность, неизвестно как и откуда зававшая в сердце.

... В это время трагичный певец Клецов, человек невзрачный и неприятный, ввухнул мне беспокойную мечту. Он, несомненно, обладал таинственной и редкой силой заставлять людей слушать себя, его песни были милым голосом другой жизни, более приятной, чистой, человеческой. Тогда я вспомнил, что ведь и мне в школьной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось противно вносить в жизнь людей нечто приятное им и удивительное для меня.

Может быть, мне действительно надо идти в театр, в театр,—там я найду прочное место для себя?

Я решил попробовать, и—вот я стою в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть индейцем и чертом в пьесе «Христофор Колумб».

Красное, кирпичное здание театра снаружи неприятно похоже на амбар,—внутри оно вызывало чувства темные, гнетущие.

Помню, как по просторной, полусвещенной сцене, против черной дыры, палочка сырым мраком, толстенный человек, бешено ругаясь, гонял нас, ку-

ту мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

— Крокодилы дохлые,—убьете вы меня!

Мне казалось, что он притворяется,—вет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной, тонкой палкой, мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он светился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и был ораи:

— Какие же вы индейцы? Вы—свитки, а не индейцы! И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

... Я читал об открытии Америки, и черти казались мне лишними в этом событии.—Вникала Прескочта не упоминала о них. Я читал Майн Рида, Эмара и, думая, что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как колят амегианские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки раздражали учителя, он укоривленно кричал: — Послушай ты, длинный, окаленный сухарь, смычок, жердь вавилонская,—что у тебя пятки подрезаны, а? Ты по бигому стеклу ходишь? Убей ты меня, бессовестная фигура!...

На спектакле я все-таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить настоящий, порядочный индеец, и усердно тыкал деревянным острием копья в животы неуклюжих испанцев. Это очень веселило людей за кулисами, но помощник режиссера все-таки был недоволен мною.

— Послушай, диван с пружинами,—сказал он мне в антракте.—если ты будешь качаться во все стороны, я тебя швырну в омут!

А тут еще полонел пышно одетый испанец, человек близкий самому Колумбу, и пожаловался на меня:

— Я этого верблюда проткнул насквозь шпатель, а он—хоть бы что, даже не пошатнулось! Чудесно вы обучили их, милый мой!...

Среди индейцев, чертей и краснокожих спокойно рассказывают обыкновенные русские люди, обыкновенные женщины; одна из них, маленькая и вся в черном, точно монахиня, сказала испанцу:

— Егор, ты помнишь Тулу? Я чувствовал себя нелепо, где-то между сном и явью. Расширяясь во все стороны,

передо мною плавал огромный черный мешок, тесно набитый головами людей, точно дынями. Эти бесчисленные головы казались мне слепыми, лишь кое-где, на крупных пятнах лиц тускло светились ненужные глаза. Из мешка на сцену вливался запах теплой сырости; иногда, среди жуткого молчания, был слышен кашель, шарканье, какой-то скрип.

Зал театра булил у меня странное сравнение с огромнейшей глубокой могилкой, куда правильными рядами положили множество людей.

Жуткое чувство еще более усиливалось во время репетиции, когда черная пустота зала таранилась на полутемную сцену пустым, бездонным зевом. Смотрит пустота, молчит и так странно, что пред нею люди шумят, смеются, кричат. Голоса кажутся неестественно промккими, все люди юварят нарочито не те слова, двигаются не обычно и машут руками, точно испуганные слепые в поисках, за что бы схватиться.

Этот кошмар еще более углублялся бредовыми речами артистов; ходит по сцене длинный человек с лицом красного мертвеца, с потасшей трубкой в зубах и, разводя руками, точно плавая в полумраке, бормочет:

— Марлиза, вы поставили меня на край пропасти—чего? Ага—стихи! Я знаю—мне спасенья нет...

Красивая чернобровая женщина, сидя на стуле у кулисы, сердито кричит:

— Послушай, я здесь бросаюсь к твоим ногам, а ты уходишь от меня! Где же Кити?

— Он кинулся в уборную зачем-то.

А около суфлерской будки стоит маленький человечек без глаз и бровей, с круглым ртом окуня, стоит и тихонько, грустно, приятным голосом напевает:

Я — страдала,

Страдала

С моста в речку

Ситанула.

Чернобровая женщина сердито кричит ему:

— Перестаньте вить! Дальше, дальше, господа!

Из-за кулисы высовываются чьи-то головы, выходят люди, исчезают, за кулисами стучат молотки, вбивая гвозди в сухое дерево, и что-то противно скрипит.

... Все это было мало понятно, пороку трудно, но хотя все выдумывалось и создавалось при мне, на моих глазах, однако, иногда эта начитанная, фальшивая жизнь охватывала меня до того сильно, что и я тоже начинал ходить по земле, выливая грудь, неловкими шагами петуха, говорил басом, отчеканивая слова, и все нитирал лоб, как это делал один из артистов.

Влюбленные виконты и маркизы, несчастный актер Яковлев, героический Несчастливцев, дон Сезар де-Базан, Карл Моор, разбойники, бояре, купцы и Квасило, — все эти плохо оснитые кошелем, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам. Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений.

Если хочешь спокойно наслаждаться, — не заглядывай за кулисы!

Но моя роль неизбежно заставляла меня торчать за кулисами, и я слышал, как герой, только-что валявшийся у ног возлюбленной своей в судорогах пламенной страсти, кричал на нее за кулисами:

— Какого дьявола у тебя булавки патыканы, где не надо!

А благороднейший отец, только-что оплакав на сцене свою несчастную дочь, шипел на нее, прозя пальцем:

— Ты опять роль не знаешь, дурында?

Улыбаясь, она говорит:

— Ой, ты так хорошо играл, что я все забыла...

— Не твое дело, как я играл!

Дурьнда—маленькая, стройная женщина, синеглазая, молчаливая. Она смотрит на все принудясь и недоверчиво, как будто люди ей вещи непонятны, чужды ей. И ходит она осторожно, точно кошка. Как-то раз я застал ее в темном углу за сценой; прижавшись к стене, закрыл лицо руками, она тихонько плакала. Дня за два до этих слез она так трогательно изобразила Эсмеральду, что я навеки влюбился в нее, и теперь, видя ее слезы, сам готов был певно плакать или, если она прикажет, избить обидевших ее.

Но я не смею подойти к ней, смотрю издали и думаю: хорошо, если бы театр загорелся! Когда все побегут вон из не-

го.—я схватил бы ее на руки и вынес сквозь огонь. Только бы вынести, а потом поклониться ей молча и так же величательно, как это делал актер Киселевский, поклониться и уйти куда-нибудь, унося в сердце великую радость на всю жизнь.

В Успенев день играли дважды—утром какую-то феерию, вечером шла «Каширская старина». Усталые артисты были пьяны, играли весело—точно для самих себя, забыв о публике, а публика, невидимая в черном мешке, рычала и хохотала тоже как бы вне зависимости от сцены.

В антракте пьяненький Андреев-Бурлак, тощий и жалобно оменгой в костюме дьяка, потешал плотников шутками и анекдотами и всех без разбора звал после спектакля на Пески, в трактир, есть пельмени. Дама моего сердца, пыряженная в яркий сарафан и тоже пьяненькая, сидела на связке каких-то веревок, смеясь, напевая.

Я не заметил, кто дернул веревку, видел только, как она, испуганно взмахнув руками, опрокинулась на спину, видел высоко вскинутые ноги и огромные от испуга глаза. В следующий момент она, ловко повернувшись на бок, вскочила и гневно выругалась грязными словами улиц и площадей.

Дивный хохот пререл вокруг нее, люди выли зверьем от удовольствия.—она отляглась и, подоткнув к маленькому актеру в костюме каширского парня, ударила его по щеке. Ее схватили, смяли, унесли в уборную.

А у меня упрямо заняло сердце, все вокруг стало противно мне, я решил уйти из театра и тотчас ушел.*)

«Каширская старина» с участием Андреева-Бурлака в ярмарочном нижегородском театре шла в августе 1882 года. Можно думать, что именно в это время—между службой у подрядчика строительных работ Сергеева и у хозяйки иконописной мастерской Салабановой—Горький испытывал себя на театре.

Изображенный им здесь Андреев-Бурлак—ныне основательно забытый, а в свое время очень известный актер и тещ, яркий представитель провинциальной актерской ботемы. Сам будучи литера-

*) Из неизвестных материалов, переданных А. М. Горьким автору статьи.

тором, он имел и широкие литературные знакомства, по сообщению С. А. Толстой, он дал Толстому сюжет «Крейцеровы сонаты». Шумной известностью он пользовался в особенности в Поволжье, одним из наиболее популярных его чтений были «Записки сумасшедшего» Гоголя, он исполнил этот рассказ в театральной обстановке.

Что же касается пьесы, с которой началось знакомство Горького с театром, и рассказывая о которой он дал такую замечательную картину театрального быта в провинции—сведения о ней появляются в объявлениях «Нижегородского Биржевого листка» еще с 1878 года. Объявления эти были такого рода:

В большом каменном ярмарочном театре артистами драматической труппы под управлением П. М. Медведева представлено будет Христофор Колумб или Открытие Америки драма в 5 действиях, с прологом, в прозе и стихах, с хорами и танцами. соч. Листеи и Борре, перевод с французского А. Соколова (с новой обстановкой) новая декорация «Корабль в океане», писана г. Паулино.

Такие пьесы на языке театральных профессионалов того времени назывались «обстановочными мелодрамами». В афишах о них атрепреперами анонсировались: танцы, игры, пляски, провалы, полеты, разрушения и превращения. Обещались адежки духи, разные чудовища и тени. Представляя собою некое подобие и театра, и цирка, и шародного балагана, такие постановки были хорошей приманкой для публики попроще и давали иногда атрепреперсам возможность поддерживать их оборам более серьезный репертуар.

Такие «драмы» по своим массовым сцанам преобладали, вероятно, большого количества статистов, поэтому-то набиралась они прямо с улицы. Сигалев, знакомый Горького тех лет, писал ему впоследствии: «... Вспоминается мне прием купавинских мальчишек в театре. Видел раза два, как Андрюшка-толстый (Баранов) плакал горькими слезами, когда его отставили от работы за его толстое брюхо».*)

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ.

*) Из неизвестных материалов.